

Бело-серая чайка застыла в окне, будто пытаясь посоревноваться в скорости с поездом... И канула вниз, в колёсный грохот.

Состав проезжал по металлическому мосту, перекинутому с одного полового каменистого берега широкой серой реки на другой.

— Онега, — сказал лениво усатый, пухлый, отёчный мужик с противоположной полки, глянув в окно, и отвернулся к стене, укрылся с головой потрёпанным пальтецом.

“Онежская губа рядом”, — подумал Николай, вспомнив карту, которую рассматривал совсем недавно, получая расчёт в тресте “Севрыба”. Карта висела на стене в коридоре треста: Архангельск, Белое море, Соловки, изрезанные заливчиками и устьями речушек скалистые берега, горловина выхода в океан, берега, будто изъеденные фьордами, Мурманск...

Всё это знакомо ему. Их траулер РТ-20 “Архангельск” таскал трал у Летнего берега, а потом был переход Баренцевым морем в незамерзающий Мурманский порт.

Снова чайка в окне, но её словно сносит ветром, к оставшейся позади реке... “Летели большие, клювастые птицы за судном, пропахшим треской”, — повторил строчку, застрявшую в голове, но к которой не находилось продолжение.

...Когда поднялся трал, вода из него рушилась в воду, пеннелась, и пеннелась единой живой массой рыба, и чайки, пронзительно, скрипуче орала и пеннелись над тралом...

Всё это было, всё это теперь уже навсегда с ним, что бы там ни было впереди. А что впереди? Учёба в техникуме, если поступит, и жизнь — интересная, большая, хорошая... И поезд несёт его к этой жизни. И хотя небо сейчас серое, а поезд — грязно-зелёный, в ритм перестуку колёс складывается: “Прекрасно небо голубое, прекрасен поезд голубой...”

В приоткрытое окно залетает пахнущий паровозным дымком влажный ветер...

— Сынок, прикрой-ка фортку-то, — просит бабулька с нижнего сиденья.

Николай задвигает форточку. И сразу становится душно, все поездные запахи — еды, табака, одежды, людей — лезут в нос. И Коля даже дышит какое-то время через шарфик (белое кашне — предмет особой гордости), потом привыкает к запаху.

А бабулька — приятной-округлой, седовласой — хоть бы что. Как и сидящему напротив неё скуластому востроглазому мужичку в сером свитере и в штанах, заправленных в сапоги, голенища которых собраны в гармошку. На кисти левой руки его — заходящее в море солнце и надпись “Север”.

Старушка сперва с опасением посматривала на этого соседа, потом стала его расспрашивать о жизни и даже угостила лепёшкой, которую достала из плетёного пестеря с плетёной же крышечкой.

И Николаю предложила:

— Паренёк, на-ко, угостись.

— Нет, спасибо, — торопливо ответил он и отвернулся.

“Парнишка-то скромный какой”, — слышит Николай, как тихонько говорит бабулька тётке, сидящей через проход у противоположного окна. И добавила ещё, думая, что он не слышит: “Лопоухонькой. У меня внучок такой же”.

Ох уж эти уши! Хоть приклеивай их к голове! Торчат, как лопухи, особенно когда он стрижётся. Получив расчёт в тресте, он и постригся, и в баню архангельскую сходил...

А приблатнённый мужичок, освободившийся по амнистии, как стало ясно из разговора, от бабушкиного угощения, конечно, не отказался, уплёл лепёшку, запив холодной водой. Говорил он громко, развязно. Затягивал, но не заканчивал разные песни: “Эх, завтра я надену майку голубую, майку голубую, брюки клёш...” Или: “Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет...” И пояснял бабушке:

— Это, мама, поэт Есенин, был такой, да...

Никакая старушка ему не мама, но он так её называет.

Коля вспомнил, как на траулере старший механик Капуста (фамилия такая!) под гармошку пел: “Клён ты мой опавший, клён заледенелый...” — и тоже говорил, что это Сергей Есенин. Коля тогда запомнил имя и решил для себя, что при первой же возможности пойдёт в библиотеку и спросит Есенина. В городе, где есть техникум, наверняка же есть библиотека...

Он тоже на гармошке-то играл, хоть бывало после смены в кочегарке и руки едва не отваливались. Играл. И частушки позабористее пел — он же матрос, а не какой-то там... “младенец”. Очень тогда, в конторе “Севербы” обидело его это слово, брошенное каким-то бывалым, конечно же, морячком. А начальник отдела кадров, глянув в его автобиографию, громко, чтобы и тот, что обидел его, и остальные слышали, переспросил: “Значит, отец на фронте погиб? — Да. — И мать умерла?” Молча, кивнул. “Детдомовец?”

— Ну, к нам если только помощником кочегара...

— Я могу, — Коля тут же заверил.

— Силёнок-то хватит ли...

— Давайте возьмём, — сказал молодой, с озорными глазами и синим якорьком на правой кисти матрос.

— Давай возьмём, — сказал и седоголовый коренастый матрос, оказавшийся кочегаром Иваном Васильевичем Коневым.

— Ну, давайте! — махнул рукой капитан.

И стал Коля Рубцов помощником чокегара...

— По тундре, по железной дороге... — пропел бывший сиделец. — Эх, мама, жил я на Северном Урале, долго и мучительно... Душа праздника просят, мама, — говорил он, охлопывая себя, что-то ища в карманах.

— Сиди, баламут, праздника ему хочется... — ненатурально сердито отвечала бабулька. — Тебя мать-то ждёт ли? — спросила.

— Ждёт.

— Так ты куда, сокол ясной, правишься-то?

— В Мурманск. Ташкент — город хлебный, а Мурманск — город рыбный, — говорил он, произнося название неплохо знакомого Коле северного города с ударением на “а”.

“А хорошо бы и в Ташкенте побывать! — подумал Николай. — И на Байкале, и на Алтае... Страна большая... Но сначала нужно специальность получить, чтобы не бродягой по стране ездить, а нужным человеком”. Вот он и едет получать специальность. А там и горы, между прочим, есть — Хибинь...

— Пойду-ка я к своим, в буру перекинусь, — поднялся беспокойный сосед с нижней полки и пошёл вдоль вагона, цепко вглядываясь в сидящих и лежащих пассажиров, нагло ухмыляясь, опять напевая что-то.

Тётка, что сидела через проход, пересела тут ближе к бабульке, заговорила негромко, но зло:

— Их там целый вагон — архаровцев. Сталин-то помер, так их и распустили, шпану-то. И зачем только?

— Так-так, — кивала сочувственно бабушка.

Она всем сочувствовала, эта бабушка — и худенькому пареньку, что спит на верхней полке, и освободившемуся из лагеря уркагану, у которого тоже мать есть, и этой тётке, переживающей за содержимое мешка, засунутого на верхнюю полку, и за деньги, рассованные по многочисленным карманам и складкам её юбки, кофты, жакетки...

— Так, милая, так... — кивает она.

— А у нас в деревне пастух коров доил, колхозных... В лес-то угонит, да и пойдёт! А кто-то узнал, донёс — восемь лет дали. И, говорят, таких не отпускают, только тех, у кого до пяти лет срок — во как! — возмущалась тётка.

И вдруг подал голос пухлый мужик со второй верхней полки:

— А кто у нас тут недовольный?

— А лешой бы тебя пронеси! — откликнулась тётка и пересела на своё место, замолчала.

Коля уже и хочет спуститься, размять ноги-руки, и понимает, что лучше лежать, дремать — так есть меньше хочется... Будет какая-нибудь станция — выйдет, подышит...

А за окном вырастают из-под земли огромные камни. И это уже не камни, а скалы, за которые, запустив корни в трещины, уцепились чахлые деревца. А вон-то и море же между скалами видно — стальную холодную гладь Онежской губы.

...И откуда, каким ветром занесло в их село Никольское, стоящее не берегу речки Толшмы, в тысяче вёрст от моря, романтику морских странствий?

Но знали они, мальчишки, что маленькая Толшма их впадает в судоходную Сухону, а Сухона, сливаясь с Югом, образуют могучую Северную Двину, а та несёт воду в Белое море, дальше уже — Ледовитый океан. И отпуская по весне сделанные из щепок кораблики в бурлящие ручьи, устремлявшиеся к Толшме, верили они, что доплывут их корабли до самого океана... И вот ему всего-то шестнадцать лет (или уже шестнадцать?), а он уже и по Двине плывал, и по Белому морю, и по океану...

Там, в Николье, выбежали как-то раз на улицу, а по ней идёт, чуть покачиваясь, моряк в широких штанах, крепко печатая востроносими ботинками снег, в чёрном бушлате, из-под которого видна тельняшка, в бескозырке с развевающимися по ветру лентами... Спереди на ленте бескозырки — золотые буквы: Северный флот.

Детдомовцы и моряка-то до этого разве что на картинке видели.

Он — Колька Рубцов, — как и все остальные, в длинном пальто, в сером, обмотанном вокруг шеи шарфе, в шапке с ушами, завязанными на затылке, первым восхищённый голос подал: “Дяденька, а вы моряк?” “Моряк, моряк... — усмехнулся: — Беги, давай, в дом-то, а то шнобель-то отморозишь!” Остальные тут набегают: “Моряк, моряк!..” — “А у меня папа тоже моряк!” — “Иди ты — моряк с печки бряк!”

А моряк уходил вдоль по улице и в конце её толкнулся в калитку, и с крыльца, будто птица, раскинув крылья, метнулась к нему женщина.

Как же мечтал он, да и другие мальчишки, вот так же когда-нибудь толкнуться в калитку родного дома — в таких же широких брюках, в бескозырке с лентой и золотыми буквами...

А ещё он читал книжки в школьной библиотеке: “Остров сокровищ”, “Пятнадцатилетний капитан”... А фильм “Дети капитана Гранта” смотрели в клубе. И потом долго, как ненормальные или пьяные, распевали: “А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер...”

Да, ветер, ветер... Теперь уж узнал он, что ветер может быть и злым, и грозным, и добрым, и ласковым, и поплакать он может с тобой, и отстегать тебя холодными плетями шторма... “Может ветер выть и стонать, может ветер за себя постоять...” — слагаются слова и остаются в памяти... Вот будет у него свой угол — всё запишет. И может, не хуже тех стихов получится, что читал на “Архангельске” команде. Мужики, похохатывая, повторяли его строчки: “Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато — работаю в трал-флоте!” — и особенно: “Избушка под названием “Пивная” стоит без стёкол в окнах, без дверей”. Здорово получилось!

— Здорово ты, Колька! Молоток!

А кочегар Иван Васильевич слушал как-то, как Коля напевал что-то под гармошку, и сказал остальным, курившим на баке:

— Его, ребята, Бог поцеловал, у него душа песенная...

В чемоданчике его, кроме второй тельняшки, большая часть денег (ещё есть деньги в кармане бушлата) и тетрадка — тонкая школьная, — и карандаш...

Чемоданчик уже не тот, с которым два года назад ездил поступать в Рижское мореходное училище — сработанный в школьной мастерской, закрывавшийся на гвоздик... Нет, тот, как приехал обратно в Ниолу, бросил с моста в Толшму, чтобы и не напоминал о той поездке. А всё равно помнится.

Нет, поездка-то была интересная: поезд, Ленинград, Рига, сопровождающая Ольга Сергеевна — добрая, но и чуть надоедливая со своим постоянным присмотром. Ехали с ними ещё девочка Оля Смирнова и парень, Вася Коробов, куда-то в Ленинграде поступали. На вокзале их встретила Васина тётя. А Коля с Ольгой Сергеевной переехали на другой вокзал. Пока ехали в трамвае, Коля успел рассмотреть высокие дома, сливавшиеся иногда в сплошную стену с окнами, какой-то канал с чёрной водой в серо-гранитных берегах... “Обязательно вернусь сюда и всё-всё погляжу”, — подумал он тогда.

Приехали в Ригу. В мореходку его не взяли. “Ему ж пятнадцать лет нет ещё”, — сказал Ольге Сергеевне усатый человек в моряцкой форме (Коля был уверен, что это капитан какого-то судна). И тихо, чтобы он не слышал, добавил: “Что вы нам дистрофиков везёте!”

Поэтому он не любит Ригу... И ничего, ничего не помнит...

После той неудачной поездки поступил в Лесотехнический техникум в Тотьме. Куда-то же надо было поступать...

В первый учебный день была экскурсия в музей. И там женщина-экскурсовод рассказывала о том, что церкви в городе, и правда похожие на парусники, строились на деньги удачливых тотемских кушцов-мореходов. А тотемский житель Иван Кусков и вовсе построил в Калифорнии русский город, женился на индианке и вернулся в Тотьму. “Значит, дети-то у них наполовину индейцы, — восторженно говорил он новому другу Серёже Багрову. — Ты, Серёга, может, потомок индейцев, а? — Сам ты Чингачук!” — отвечал

Багров, тоже любитель книжек про индейцев, морские приключения и путешествия...

И как только появилась возможность — рванул в Архангельск. И уж так решил: “Если в мореходку не возьмут, всё равно не вернусь в Николу, в матросы пойду, кем угодно, лишь бы на судно”.

“А жаль, что отказался от бабкиной лепёшки, со вчерашнего вечера не ел...” — отвлекает его голод от воспоминаний.

Поезд долго шёл, замедляясь, и встал на какой-то станции. Народ повалил на улицу. Напялив фуражку-мичманку и запахнув потуже на шее белый шарф, на ходу уже натягивая бушлат, Коля тоже пробрался к выходу, прыгнул на перрон. А тут настоящий базар — продают варёную картошку, хлеб, рыбу, одежду. Толкаются, кричат, безногий инвалид на тележке, в грязной фуфайке, к которой приколоты какая-то медаль, рвёт гармошку: “Я немцам жару поддавал! Я кровь мешками проливал!..” Выделяются благным форсом освободившиеся по амнистии уголовники, которых полно в поезде. Вон, кажется, и сосед по вагону мелькнул. Точно, он — подмигнул Кольке и исчез в толпе.

Коля на ту мелочь, что была в кармане бушлата, купил у сердитой тётки пирожок с капустой. Сквозь толпу пробрался к вагону, влез, добрался до своего места... И сначала подумал, что это не его место... Но вот же бабулька сидит. Тётка ушла, видно, на улицу. Усатого толстяка с верхней полки тоже нет, и блатного нет... Нет и чемодана, а вместе с ним и денег. Хорошо ещё, что паспорт в кармане брюк и потрёпанная тетрадка со стихами, свёрнутая в трубку, во внутреннем кармане бушлата. Но что же делать без денег?..

Страшно, холодно, пусто...

— Ты чего, паренёк?

— Ничего...

Чего-то он ещё ждёт. Поезд трогается, толпа на перроне растворяется, вагон наполняется. Но не возвращается ни толстяк, ни освободившийся... “Ещё подмигнул мне”, — вспомнил Коля. Глаза его слезами наполнились.

— Что-то нету соседей-то... — вернувшаяся тётка вроде бы говорит. Вроде бы кто-то садится на освободившиеся места — он не смотрит на новых людей. Вроде бы что-то спрашивает бабулька — он не слышит её.

Залезает на свою полку. Пусто. Нет ничего.

Вечером поезд прибыл на полустанок, где нужно делать пересадку — тут отворотка на Кировск. Билет надо покупать. А денег нет.

Но Коля уже успокоился. В конце-то концов, это же приключение! Самое настоящее! Обидно конечно, но что ж... Хорошо хоть паспорт остался. И мичманка, и бушлат, и шарф. И курточку он ещё в Архангельске купил вельветовую, в разрез ворота которой очень красиво выглядывает тельняшка. Фуражку-мичманку ему старпом подарил, бушлат боцман списал и тоже подарил “студенту”. А адрес техникума, в который решил поступать, он на зубок помнит... Ну, что делать — на станции к милиционеру подойдёт: так, мол, и так... Или просто в поезд попросится, там, говорят, уже и остаётся-то полтора часа ехать. “Доберусь! Где наша не пропадала!”

Когда выходил, бабушка спохватилась:

— Ты ж вроде с чемоданчиком был...

Он не ответил, махнул рукой и вышел на перрон.

Был ещё день, но уже клонился он к вечеру. Холодный ветер пронизывал... И вдали видны то широкие и островерхие, будто взбитые и поставленные углом вверх подушки; то узкие, устремленные ввысь, похожие на тотемские церкви, горы! Хибинны...

А на соседнем пути стоял поезд:

— Это куда? — спросил Коля у пожилого железнодорожника, проходившего мимо.

— На Кировск, через пять минут отправляется.

Коля шёл вдоль состава... Вот и последний вагон, а на его крышу, сзади, подсаживая друг друга, подтягиваясь руками, забираются двое парней. Вот они уже и на крыше.

— Эй, помогите-ка! — командирским тоном сказал им Колька.

Один свесил светлую голову, осмотрел его.

— Ну, чего смотришь-то...

— Давай!

Колька вспрыгнул на ступени, схватился за протянутую ладонь, за крышу, подтянулся... Влез.

— Здорово!

— Здорово!

Гудок. Поезд дёрнулся, и все трое присели, ухватились друг за друга. А поезд набирал ход, вздрагивал... Но вскоре освоились. Кричали друг другу в ухо что-то и всё равно почти ничего не слышали, смеялись... Какие-то замечательные, весёлые это были парни. Примерно одного с ним возраста — один худенький светловолосый, второй — плотный, коренастый, тёмно-русый.

Коля увидел, что на крыше их вагона ещё люди сидят, и на других вагонах. И вовсе успокоился. Только холодно было... И мичманку, на которую, он заметил, завистливо посматривали парни, всё время держал рукой, чтоб не улетела, а второй рукой держался за какие-то перильца...

Поезд мчался с грохотом и свистом — мимо скал, мимо редких огней... Чувство восторга охватило Кольку.

У парней были с собой ещё и какие-то мешки, и вот один из них достал из своего мешка... гармошку! Тоже, видно, от восторга... Поставив её на колени, заиграл... Точно на такой же гармошке играл Коля в детдоме, и в Тотме, и на траулере:

— Дай-ка! — крикнул парню и показал на гармошку. Мичманку свою снял, подал ему, принял гармонь, пристроился к ней, подтянул ремень, нажал несколько раз на кнопки, склонив голову, будто прислушиваясь, и рванул:

— Куда идёшь, зелёна рать!

— Малину жрать, зелёна рать!..

Парни, севшие вплотную, чтоб слышать его, покатались со смеху...

Так и ехали полтора часа, распевая частушки.

Поезд встал.

— Прибыли, Кировск.

Парни спрыгнули с вагона и быстро прошли в вокзал, который поражал своими размерами, высотой потолка, большими окнами...

Снова познакомились, назвали имена:

— Колька!

— Валька!

— Серёга!

— Вы куда?

— В техникум.

— И я в техникум!

Вышли на привокзальную площадь, за которой тянулись ряды барачных, впереди в туманной дымке начинавшейся белой ночи — горы... А глянув правее, Коля увидел озеро — противоположный берег его сейчас лишь угадывался в дымке.

— Ничего водоёмчик. Не море, но всё-таки, — констатировал Николай.

— Это Большой Вудъявр, — сказал Валька, — озеро.

2

Валька и Серёга уже бывали тут. У Вальки старший брат в техникуме на четвёртом курсе учится. Они из рыбоколхоза, что на самом берегу Белого моря...

— Как тут комбинат-то открыли — все, кто помоложе да пограмотней, сюда стали перебираться... Чего там в деревне-то... — говорил Валька.

Выяснилось, что ребятам по четырнадцать лет, сразу после седьмого класса поступают. Коля старше их на два года, потому и выше на голову. А уж по опыту, по тому, где бывал и что видел, он не на голову, а на все три выше этих деревенских парней-поморов — невысоких, но крепких уже по-мужички.

Между делом, идя по мягко пружинящим под ногами деревянным мосткам, он рассказывал им про Архангельск, про Мурманск, про Ленинград (который почти и не видел, но так уж его поразило то, что успел увидеть, пока переезжали с вокзала на вокзал), про траулер...

Уже белая мутная ночь опустилась на город. Дома, всё двухэтажные деревянные бараки, тянутся унылыми рядами вдоль грязных, с разбитыми дорогами улиц, кое-где желтеют окна. А там, у гор, где-то за городом слышен постоянный гул, похожий на шум прибора, и будто откуда-то из-под земли вырывается свет и озаряет жёлтым и красным небо...

— Комбинат! — говорит Валька. — А вот и общага, — он сворачивает к тёмному бревенчатому, длинному дому-бараку.

“Общежитие № 1” написано на табличке у входа. Под козырьком крыльца горит фонарь в стеклянном колпаке и металлической сетке... И как-то не по себе становится Кольке от этого барака, от этого фонаря в сетке...

Валька уже дёргает дверь. Заперто.

Николай на правах старшего берёт инициативу на себя, уверенно стучит. И ещё раз. У ближнего к двери окна на первом этаже сдвигается шторка. Приоткрывается форточка:

— Чего стучите-то? А? Чего гремите? — спрашивает строгий хриплый женский голос.

— Откройте, пожалуйста, мы поступать приехали, — уверенно говорит Николай.

— Поступать... Стойте, щас открою...

За дверью слышны шаги, стучит об пол скинутый длинный металлический крюк, дверь открывает невысокая женщина с жёстким лицом, в платке, покрывающем голову, в зелёной кофте.

— Ну, заходите, мазурики. Знаю, что поезд только пришёл, уж жду. Каждую ночь едете.

Ребята стояли в тесном коридорчике, переминаясь с ноги на ногу...

— Подождите, сейчас выделим вам комнату... — деловито говорит женщина, листая толстую тетрадь. И сообщает: — Меня зовут Зинаида Николаевна, я комендант, слушаться меня, как отца родного!.. Вот в девятую вас пока поселю, пошли. — И шагнула к лестнице, ведущей на второй этаж.

Коля успел увидеть длинный коридор с рядом дверей, одна дверь приоткрылась, выглянула девчонка, да и спряталась. Значит, на первом девушки живут.

По лестнице навстречу им бежал белоголовый крупный парень:

— Ну, здорово, орлы! — тряхнул за плечи Вальку, ткнул в плечо Серёгу. Николаю протянул руку: — Валерий. Старший брат вот этого индивидуя, — кивнул на Вальку.

— Николай.

— Он в тралфлоте служил! — сообщил брату Валька.

Валерий кивнул уважительно и шутливо одновременно — не поймёшь...

Поселились в пустой ещё комнате, в которой стояли восемь кроватей.

— Бельё и матрасы завтра выдам, если документы возьмут ваши, — сказала комендантша, которую нужно было слушаться, как отца.

Парни так устали от всех впечатлений дня, что тут же растянулись на голых пружинных кроватях и, вроде бы и продолжая ещё говорить, засопели, ушлёывая в сон.

— Ну, спите, если что — я в четвёртой, — сказал, видя такое дело, Валерий и ушёл.

Парни, подложив под головы свои мешки, тут же уснули.

Николаю и подложить было нечего, он лежал на спине, закинув за голову руки.

Он не спал, он, просмотрев внутри себя все события сегодняшнего дня, беспорядочно и полусонно снова вспоминал разное из жизни своей.

Опять вспомнил ту воспитательницу — Ольгу Сергеевну. Она очень любила стихи. И его, Колю, любила за то, что он сочинял стихи.

Да, с ним это уже давно бывало: возьмёт да и скажет что-нибудь складно. Потом ещё в школьную стенгазету писал... В Риге, когда шли из училища

на жезл (а ухали в тот же день), она, может, стараясь отвлечь его от переживаний неудачного поступления, рассказывала:

— Я читала, что здесь лечился раненый поэт Батюшков, здесь он полюбил девушку, но не смог жениться на ней...

Коле и правда было не до Батюшкова, и он плохо слышал воспитательницу. Но заинтересовался, когда она сказала:

— А родом Батюшков был из Вологды, как и ты... У него сам Пушкин писать учился... А похоронен Батюшков в Прилуцком монастыре.

— А, так это было давно?... А монастырь-то я знаю...

И сейчас, в голой комнате Кировской общаги, как тогда посреди красивого нерусского города Риги, память унесла его в тот светлый день, под древние Прилуцкие стены... Они жили там, в Прилуках, когда переехали из Няндомы. Домик их (снимали, кажется, у кого-то) был неподалёку от монастыря, и рядом была ещё церковь, Никольская, и кладбище. И река Вологда была рядом. Только почему-то недолго пожили в том домике (а несколько месяцев, которые жили в нём, помнятся, как самые счастливые), переехали в Вологду, в страшный барак, потом война началась, мама умерла, отец на войну ушёл, первый детдом, второй... Мама раскинула на травке скатёрку, выложила из корзины какую-то еду — хлеб, огурцы... Отец купался, Коля пытался схватить в траве кузнечика, но и боялся его — треугольного и большеглазого, и всё равно хотел схватить, и с восторгом наблюдал, как делал кузнечик гигантские прыжки... А потом от монастырской стены бежал какой-то человек, а за ним другой человек, в форме, но не мог догнать. А его отец вылез из реки и догнал, приказав стоять. И беглец остановился.

Больше он ничего не помнил о том дне. Только осталось щемящее чувство того, что и в самое доброе счастье всегда может ворваться что-то непонятное и недоброе...

Так вот там, за теми-то стенами — могила Батюшкова. Когда-нибудь он побывает там, нужно побывать...

Потом уже, в Архангельске, был у него период — месяца два, когда он снова не поступил в мореходку, но ещё и не устроился в тралфлот: ему подсказали, что есть место в библиотеке в Соломбале... Добрая вахтёрша из училища увидела его, едва не ревущего, и сказала:

— Да будет тебе, поезжай домой, через год поступишь.

— Нет у меня дома...

Тут-то она и сказала, что, мол, дочь увольняется и освобождается место библиотекаря — и жильё прямо там и, пусть небольшая, зарплата.

— Потому как на судно-то когда тебя ещё возьмут... — покачала головой. — Ты там годик-то поработаешь, подготовишься да на следующий-то год и поступишь...

Вот и стал там жить-работать. Неплохо, в общем, устроился. Главное — книг много. И он читал. Там-то и попался ему том Пушкина из собрания сочинений 1937 года выпуска. И в этом томе подробный разбор “Опытов в стихах и прозе” Батюшкова. Так там Александр Сергеевич “учителя”-то своего “под орех” разделявал! Но и восхищался удачными стихами и строчками... Никаким Батюшков учителем Пушкина не был. Но учился Пушкин и на нём, и на Вяземском, и на всех тех книгах, что читал... Вот именно тогда Коля понял это про Пушкина и Батюшкова. И сам, между прочим, старался уже читать по-пушкински... Потом, на корабле, конечно, долго не до книг было. Ну, теперь-то уж он начитается... И кстати, там же, в той архангельской библиотеке, нашёл книгу Всеволода Гаршина (знал этого писателя по сказке “Лягушка путешественница”, которую читал ещё в детстве) с его обжигающими рассказами. А в предисловии вычитал, что какое-то время Гаршин жил в усадьбе Красково под Вологдой. А ведь детдом, в который поначалу его и брата Бориса привезли, в Краскове и был, в усадьбе... Может, в той самой... Тесен всё-таки мир. Всё близко в нём, надо только чувствовать. Давнее становится вдруг осязаемым, твоим.

Он поднялся, вышел из комнаты, пошёл по длинному коридору в дальний его конец, откуда пахло уборной — хлоркой и куревом.

Тут и кучковались старшекурсники. Курили, говорили о чём-то громко

и висло, явно не думая о том, что могут кому-то мешать спать. Впрочем, общежитие было ещё почти пустым. Тут был и Валерка, Валькин брат.

— Этот, что ли? — спросил у него невысокий, широкоплечий, курносый парень, куривший папиросу.

Валерка кивнул, но и как-то отвернулся сразу, будто и не знал вовсе Николая.

— Здорово, морячок! — окликнул курносый и выдул дым в сторону Коли.

— Здорово...

— А чё, на флоте хорошо зарабатывают?

— Нормально получают.

— Так поделись, — напрямую сказал парень, и двое его дружков заушмылялись, а третий, Валерка, пробубнил:

— Да ладно, Седой, не надо...

Но Седой не слушал его. Спрыгнул с подоконника, шагнул к новичку.

Николай знал, что именно сейчас, сразу, нужно поставить себя так, чтобы больше уже не трогали. Вспомнил приёмчики, которым учил его на траулере Вовка Девятюв (похожий, между прочим, на этого Седого). Вспомнил и то, как дрались ребята с траулера в пивнухе в Мурманске, и он даже пытался помогать им...

Он сам шагнул навстречу Седому и не ударил, а ухватил за чуб, спадающий на глаза, и резко вниз потянул, так, что парень сразу на колени опустился — Девятова наука. Дружки дёрнулись к нему, но Николай ещё раз резко потянул волосы:

— Ему же хуже будет.

— Отпусти, — прохрипел Седой.

Николай отпустил, ожидал, что сразу будет удар, но виду не показал, не отшатнулся, заговорил миролюбиво:

— Ребята, давайте забудем это. Дайте лучше покурить. А то я вторые сутки без курева, а у тех малолеток только конфеты.

Седой сам дал ему папиросу — выщелкнул из пачки “Беломорканала”.

Николай, уезжая из Архангельска, задумал бросить курить, всю дорогу не курил и вот — опять... И уже он рассказывал парням, как работал на сейнере, к месту вставил и про то, как дрались в Мурманске...

— В поезде вот обокрали — совсем на мели.

— Ничего, здесь не пропадёшь — кормёжка казённая, не ахти, но с голдухи не помрёшь.

— Ещё поступить надо.

— Поступишь.

— Напишу братве на сейнер — выручат деньгами, — ещё похвастал Николай.

...Он вернулся в свою комнату, лёг на взвизгнувшую пружинами кровать. В окно вливался серый свет белой ночи. Да-да, никакая она не белая — серая эта ночь, серая...

Горько было Коле, грустно. “Ну, почему же так? Неужели всю жизнь надо будет что-то доказывать, отстаивать своё место... Вот что я им плохого сделал?! И почему стал хорошим, только когда плохо сделал? А?..” Но постепенно успокаивался, и мысль уже другая пришла: “Ну, хорошо хоть я, а не меня. Больше не сунутся. Можно спокойно устраиваться, готовиться к экзаменам, учиться”. И, как удар: “А надолго ли здесь-то?” И что это за сила гонит и гонит его с места на место, срывая, когда уж вроде бы устроился, прижился... Поступил вот в Тотьме в “лесной” техникум — учился легко, друзья были, крыша над головой, в будущем — хорошая специальность. Но бросил всё, в Архангельск поехал. О море мечтал! И добился же своего! И на судно попал, и в коллектив вписался, и в работу втянулся. Но опять бросил всё — сюда приехал... Неужели всю жизнь так? Неужели бродягой быть?..

Уснул, когда все уже просыпаться начали.

— Колька, пошли документы-то подавать, — толкнул его Валька.

— Ага, сейчас, — отвернулся к стене и попытался накрыть голову несуществующим одеялом.

— Вставай давай, пошли!

— Ну, пошли, пошли...

А когда возвращались в общежитие, их поджидала уже комендантша Зинаида Николаевна:

— Хватит вам бродить без дела, красавцы, — строго сказала она и определила фронт работ: пила брёвен и колка дров.

Брёвна были свалены неподалёку от общаги. Ничего не поделаешь: взяли у Зинаиды Николаевны пилу, колун... Коля, когда получал в кладовке пилу, весело говорил:

— Это ж моя любимая работа, я ж прирождённый пыльщик дров!

И строгая Зинаида Николаевна, глядя на него, вдруг улыбнулась и сказала:

— Ишь, какой!.. Ну, давайте, ребята, давайте, а я вам к чаю печенья дам.

Валька встал с Колей к двуручной пиле, Серёжка за колун взялся. Деревенские ребята, конечно, умели с этими инструментами обращаться. Да и Коля не зря хвастался — пилить доводилось и в детдоме, и в Тотьме. Там они с Серёжкой Багровым целую делянку, десять кубов леса на корню, спилили — было дело, без этой нормы не отпускали на каникулы...

Подходили ещё ребята, тоже в работу включались. По ходу дела и знакомились. И девушки вышли (комендантша никого без дела не оставляла), стали складывать наколотые полешки в поленницу...

На перекуре Валька сбегал за гармошкой. И Коля, пристроившись на чурбаке, растянул меха: “Шумел камыш, деревья гнулись!..”

— Давай повеселее, Кольша!

— У нас, когда камыш только шумит, деревья гнутся!.. Ну, держись!

И тут сами, одна за одной, вспоминались частушки, что пелись на гулянках в Николе...

*Нам хотели запретить
по этой улице ходить.
Наши запретители,
по морде не хотите ли!*

*Из тюремного окошка
вижу город Вологду.
Принеси, сударка, хлеба —
умираю с голоду.*

Когда кто-то из ребят хотел перебить его, своё спеть, Николай сразу откликнулся:

*А ты не пой, а ты не пой,
У тя голос не такой!
Есть такие голоса —
Дыбом встанут волоса.*

*На столе стоит бутылка,
А в бутылке лимонад.
Девки юбки разорвали —
Председатель виноват.*

Тут и девушки ответили:

*Гармонист, гармонист —
Рубашечка моряцкая,
Почему же у тебя
Морда-то дурацкая?*

— грубовато спела высокая чернявая красавица.

Вторая — светленькая, худенькая — смягчила грубость:

*Хорошо парнѣк играет,
Хорошо и слушать-то!
Задушевная подруга,
Игрока и сущат-то!*

— Хорошо поёте, да надо и дело делать, — нестрога сказала появившаяся вдруг комендантша и даже положила пару поленьев в поленицу.

Николай ещё пропел, подыграв маршево: “Нам песня строить и жить помогает!..” — и отложил гармошку.

А вечером вышел Коля на крыльцо покурить, а из окна ему Зинаида Николаевна:

— Кареглазый, иди-ка сюда, — и подала в раскрытую форточку пачку печенья...

...И вот — экзамены сданы, на стене приказ: “Зачислить...” И долгий список. На “Р” — вот он: Рубцов Николай Михайлович.

Будет теперь учиться на маркшейдера.

— Ну, что, братва, отметим! — хлопнул по карману своего флотского бушлата. Он ведь на второй день по приезде и правда — взял, да и написал письмо кочегару своему. И вот вчера получил перевод — больше, чем при расчёте, денег друзья-моряки ему выслали. И был рад, и говорил: “Вот это морская дружба!” И в кармане его сегодня ещё не только звенит, но и шуршит.

— Отметим! — тут же подхватил идею новый приятель, тёзка — Колька Шантаренков.

В комнате их теперь уже семь человек. Кроме первой заселившейся троицы (Коли, Серёги и Вальки) — Колька Шантаренков, Жёня Ивановский, Васька Потапенко и Эдик Гольдберг. Восьмая койка почему-то так и осталась пустой.

Общага теперь полна, гудит, как улей, — во всех комнатах живут, на первом этаже — девушки, на втором — парни. Старшекурсников перевели в другое общежитие.

Не заходя в общагу, компания — два Николая, Валька и Жёня Ивановский — отправилась на рынок.

Уже две недели, как они здесь. Поиздержались, домашние припасы приели. Но сегодня Коля “на коне”! Сегодня он угощает.

Шли центром города: памятник Кирову, дом культуры, кинотеатр. Ровными линиями — полтора десятка новых пятиэтажных домов. Никто из парней таких домов раньше не видел. И думалось, что вот она, здесь, на их глазах зарождается новая прекрасная жизнь, о которой пишут в газетах и показывают кино. Город — совсем молодой, вырос вместе с рудником и комбинатом — стране нужны минеральные удобрения! Да, они уже знают, что начинали его строить заключённые, и сейчас там, внизу, “зеки” работают, лагерь неподалёку от города. Но ведь есть и “комсомольцы-добровольцы”!

Кончились пятиэтажные красавцы, и потянулись ряды барачков. Но вон и красивое здание вокзала, строенное, видно, с расчётом на рост города. И сбоку от него — базарчик, ларьки пивные, рыбные, овощные.

Купили еды. Коля, как старший, пошёл вино покупать. Зашёл в низкий деревянный магазин, попросил две бутылки плодово-ягодного.

— Тебе сколько лет-то? — спросила моложавая, румяная продавщица в грязноватом халате и в колпаке.

— Девятнадцать. Да я ж моряк — не видно, что ли?

— Моряк — с печки бряк! — откликнулась молодуха, напомнив детдомовскую дразнилку. — Каким же ветром к нам-то? — выставила вино на прилавок.

— Попутным! — ответил Николай и взял бутылки.

— Ему пятнадцать, тётенька! — подал тут голос тихонько до этого стоявший у двери Шантаренков. — Но мама ему уже разрешает...

Коля лихо засунул бутылки в карманы бушлата. Погрозил пальцем тётке. Настроение у него было задорное, и даже случайное упоминание о матери сейчас не задело.

Он развернулся снова к прилавку:

— Беломора ещё две пачки и коробок, — сказал, выкладывая на блюдце деньги.

Продавица усмехнулась, ничего больше не сказала, подала папиросы и спички.

— Пить будем, гулять будем! — приплясывая, напевал Шантаренков, когда шли в общежитие.

— Держите себя в руках, молодой человек, — строго сказал Рубцов...

Глянул он сейчас на своих “собутельников” (совсем ещё детишки, все младше него) и сказал: “Валька, беги-ка к брату, пусть свою партию ведёт!”

В комнате разложили еду, открыли вино... Не заставили себя долго ждать старшекуреники, пришли из своего общежития — Седой, Валерка и ещё один парень, — подвинули мелкоту.

— Ну, за нашу новую жизнь, — торжественно сказал Николай, и разномастные чашки, кружки, стаканы сдвинулись с глухим звоном...

Старшие парни, в общем-то, всё вино и выпили и вскоре ушли. Николай подумал и не пошёл с ними.

— Доставай гармошку, Валька, пошли к девочкам! — скомандовал.

И, собрав оставшиеся продукты, ребята пошли этажом ниже.

Смелости добавляло и то, что комендантши не было на месте, её комната у выхода была заперта на замок.

С девочками за дни экзаменов уже познакомились и пришли в комнату, в которой жили их одноклассницы.

— А мы в гости! — Коля развернул гармошку:

*Машина ехала,
Колёса тёрлись,
А вы не ждали нас,
А мы припёрлись!*

— Угощайтесь, девочки!

Девочки стеснялись, но и старались показать себя хозяйками. Быстренько освободили стол, разложили еду по тарелкам и блюдам.

Коля гармошку не выпускал. Сначала плясовую выдал... Но плясать никто не стал, хотя и заулыбались, запритопывали.

И тут Николай замер, будто вслушивался в себя, и все почему-то замолчали и замерли, и он начал негромко:

*Ветер под окошками, тихий, как мечтание,
А за огородами в сумерках полей
Крики перепёлок, дальних звёзд мерцание,
Ржание стреноженных молодых коней...*

Дальше не пел, а только мычал мотив, потом перестал играть, замолчал.

— Это чьё? — спросила девушка с внимательными глазами, имя которой он ещё не запомнил.

— Да это так...

— На Есенина похоже, — сказала другая девушка, — я читала...

— Да это же твоё, Колька! — Шантаренков крикнул. — Это он пишет. У него целая тетрадь...

Николай резко встал, скинул ремни гармошки с плеч, сунул её Валентину и резко пошёл к двери.

— Да ты чего, Коль...

Хлопнул дверью. Вышел на улицу, пошёл, куда глаза глядят. Оказалось, что в сторону гор, подковой огибающих город. Ветер быстро выдул хмель, остудил. И уже не было никакой обиды, и даже сам себе удивлялся: чего сорвался-то? Смотрел на горы и думал, что хорошо бы подняться на них, посмотреть оттуда на город, на озеро... Ещё поднимется.

“А девчонки ничего есть... Конечно, не как Таня. Надо будет написать ей. А ведь ей ещё год учиться в Тотьме, а потом куда она? А я куда? Здесь буду?..”

— Вон он! — услышал голос Жени Ивановского.

Догнали. Шантаренков и Ивановский.

— Ну, ты чудак, — заговорил Колька Шантаренков. — Чего обиделся-то? Пошли в общагу, а то комендантша пришла, запрет двери — останемся на улице.

— Ну, и ладно... А ты... треплю, — Коля улыбнулся. — Пошли!

Он закурил, отвернувшись от ветра и прикрыв огонёк спички ладонями.

— А вот придумайте-ка мне рифму на слово “идиот”, — сказал он ребятам.

— Пароход!

— Бегемот!

Смеялись, кричали возбуждённо — от предчувствия ли счастья, от чего ли ещё...

— Ну-ка, потише, — прикрикнула на них комендантша из своей комнаты.

— Всё-всё, Зинаида Николаевна, — ответил Шантаренков, состроив при этом дурацкую рожу. И тихо добавил: — Отец ты наш родной...

Коля строго погрозил ему пальцем и этот же палец к губам прижал — молчи.

В комнате продолжился конкурс по придумыванию рифм.

— Ну-ка, на слово “рубка”! — дал задание Коля.

— Рубка леса, что ли?

— Рубка на корабле...

— Будка! — Гольдберг первым сказал.

— Нет, не то...

— Юбка!

— Покупка!

— Трубка! — Женя Ивановский последним голос подал.

— О! Вот это железная рифма, — похвалил Коля. И тут же добавил: —

Но мне не подходит. И, не скрываясь, достал купленную сегодня же тетрадь в чёрной обложке и что-то записал в неё тоже новой чернильной ручкой. Старая тетрадь, которую ещё в Тотьме завёл и таскал везде с собой, даже на траулере, давно кончилась, да и поистрепалась.

Засыпая, он ещё подумал, что надо будет стихи из старой тетради в новую переписать.

3

Началась учёба и повседневная жизнь. Программа первого курса в основном совпадала с тем, что учил и сдавал Николай в лесотехническом техникуме. Так что учился он легко, не напрягаясь: отличником не стал, но и двоечником не был. В комнате убирали по очереди, подметали и мыли пол, уже в конце сентября начали топить печь. Дрова надо было приносить из поленницы во дворе. Печь дымила; боясь угореть, ребята оставляли трубу открытой, пока угли совсем не остывали. Конечно, и тепла от такой топки было немного...

Но даже такую плохонькую печь Коля любил топить. А точнее — любил он сидеть перед топкой, подбрасывать полешки, глядеть на огонь... Тут же и читал, и писал тоже.

Как и думал, записался в городскую библиотеку.

В первый раз Николай взял сборник Некрасова. А когда второй раз пришёл, Фета попросил... Когда пришёл через неделю сдавать книгу, впереди него у стола библиотекариши — очкастой худой женщины с седыми волосами, собранными в кучку на затылке, — стоял невысокий паренёк. Он сдавал какую-то явно старую книгу...

Коля сразу же и взял эту книжку посмотреть. Да это ж чудо! Альманах “Серебряный ветер”, 1924 год. Николай отошёл к окну, стал листать. Есенин! “Выткался над озером алый свет зари...”

— А я предпочитаю Северянина, — раздался негромкий голос совсем рядом, сбоку. Коля обернулся. Тот мальчишечка и стоял — волосы светло-

русые, хохолок торчит, глаза голубые-голубые. Вроде бы серьёзно сказал он, и смотрит вроде бы серьёзно. Но и усмешка какая-то чувствуется.

— Чего?

— Северянина предпочитаю.

— Какого ещё северянина?

— Игоря, поэта. Вы что, не знаете? Здесь есть, — кивнул на книжку.

Коля перевернул страницу. И правда — Игорь Северянин.

*Она вошла в моторный лимузин,
Эскиза страсть в корректном кавалере,
И в хрупоте танцующих резин
Восстановила голос Кавальери,*

— прочитал Николай. — Да, ярко. Но, знаешь, как-то без души...

— Ребята, вы бы потише, — сделала замечание библиотечкариша.

Они быстро взяли книги: Коля — сборник “Серебряный ветер”, а парень, фамилию которого успел прочитать Николай в карточке, — Ерофеев, — взял Гёте.

Вышли на улицу.

— Веня, — первым подал руку парень.

— Николай. Рубцов.

— А ты, похоже, и сам пишешь...

Они шли по дощатым мосткам, и доски приятно качались под ногами, и это даже напоминало Николаю то, как плавно покачивалась палуба в спокойную погоду, при хорошем быстром ходе траулера...

— А ты тоже, наверное, пишешь, — ответил он Вене.

— Пробую. А ты дай своё почитать.

— Да я тебе и так почитаю: “Ветер под окошками, тихий, как мечтающие...”

Ерофеев выслушал и проговорил с усмешкой:

— О пастухах достаточно сказал ещё Вергилий.

— О каких пастухах? — Николай даже опешил от такой наглости.

— Ну, кони там у тебя ржут...

— И чего?

— Есенинщина — вот чего.

— А в лоб? — остановился и насупился Коля.

— Гляжу я на тебя, Рубцов, и думаю: ну почему все великие люди так плохо воспитаны? — сказал Веня и обезоруживающе улыбнулся.

Они остановились перед деревянным двухэтажным домом с табличкой, на которой написано: “Детский дом...”

— Ну, пока, Николай.

— Подожди, так ты тут, что ли?

— Да.

— А я ведь тоже... Детдомовский.

И они пошли дальше, к озеру. Остановились на берегу — камни серые, розовые, по воде невысокие (в сравнении с морем, конечно) волны с белыми шапками пены. Серое небо, горы за озером...

— Вода — моя стихия, — сказал вдруг Рубцов. — Река, озеро, море, да хоть пруд! Это моё... И огонь моя стихия! Люблю костёр на берегу, огонь в печи. И ещё ветер люблю... Люблю ветер, больше всего на свете!

— А горы? Ты ж на горняка учишься?

— Не знаю. Пока не знаю, Веня... Было мне лет пять, и я три дня в лесу жил, ушёл из дома и жил под ёлкой; ягоды ел, пил из речки и костёр разжигал. И не боялся ничего. Вот с тех пор я знаю, что не пропаду у реки, у костра. Это моё... А потом вернулся домой, там сестра уж в милицию заявила. Я в Вологде жил. Слышал такой город?

Веня кивнул и спросил:

— У тебя совсем никого?

— Совсем... Нет — братья есть, сестра... Я их найду.

Про себя Веня ничего не сказал, а Николай не спросил.

Они вернулись к детскому дому, попрощались. И больше они никогда уже так не разговаривали, хотя виделись довольно часто — в библиотеке, в кинотеатре “Большевик”... Почему-то больше не говорили.

Коля шёл из техникума в общежитие. Стало скучно, и он просто ушёл с математики. Хотелось побыть одному, полежать на койке, не слыша разговоров и беготни в коридоре. Просто подумать...

Он подходил к общаге и вдруг понял, что это длинное тёмное здание очень похоже на тот дом, в котором... В котором столько несчастья было! Который хочется забыть ему. Из которого ушёл и больше не вернулся отец, из которого ушла в больницу и уже не вернулась смертельно больная мама, в котором умерла крошечная младшая сестрёнка, из которого забрали в детдом сначала братьев, а потом, когда тётка взяла к себе сестру, забрали в детский дом и его... Он ненавидит этот дом. И вот он — перед ним.

Коля не пошёл в общежитие, обошёл здание... За их домом был дворик, тополя, сарайки, кусты... Там, у стены дома, за кустами, рос цветок, на который он ходил любоваться, набирал из лужи воду в банку и поливал его... Маме подарить хотел...

Тут никаких деревьев и кустов не было... Да и трава-то пожухла уже. Снег вот-вот выпадет. Зима за Полярным кругом рано приходит.

Коля поправил шарф, застегнул верхнюю пуговицу бушлата, закурил. Выкурив папиросу, он пошёл в общежитие, в свою комнату, по пути набрал под лестницей охапку дров, чтобы затопить печь.

Он уже знал, что долго здесь не проживёт.

Сидел перед топкой, огонь лизал поленья, ветер гудел в трубе, на коленях Николая лежала тетрадь в чёрном переплёте. И был он, Николай Рубцов, в этот миг далеко от этого барака, от этого неудобного мира...

...Из стипендии вычиталась плата за общежитие и за питание в техникумовской столовке. Остававшейся мелочи хватало разве что на курево. Конечно, те, кому приходили посылки из дома или кто сам ездил на выходные домой, вечерами, когда садились за общий чай, делились продуктами. Но не мог же Николай всё время на чужом сидеть, хотелось и ему одногруппников угостить... В общем, нужны были деньги.

От Вальки он узнал, что техникумовцы давно уже подрабатывают на железнодорожной станции — разгружают вагоны. Ещё и не попадёшь просто так в бригаду-то. Но у Вальки же старший брат, Валерка, на четвёртом курсе...

И вот с Валькой идут вечером на станцию — холодно, пахнет углём, сыростью... Из своей общаги подходят старшекурсники — всё та же компания во главе с Седым, Васькой Седовым.

— А, морячок, привет... — смотрят на него, не богатыря с виду, с сомнением, но и помнят, как поставил Седого на место, знают, что работал в трафлоте...

И пошла вскоре работа! Разгружали вагон с картошкой. Тяжеленные мешки двое, Седой и Валерка, с площадки вагона водружали на подставляемые спины. Четверо таскали.

Коля довольно быстро втянулся, бегом от вагона под крышу склада забегал. Когда же все уже явно устали (но отдыхать было некогда, начальник склада подгонял, надо было убирать вагон), он и начал по своей привычке выдавать частушки. Потом вспомнил читанного недавно Некрасова: “Вьдь на Волгу, чей стон раздаётся!” — выкрикивал на бегу. “Эх, дубинушка, ухнем!” — говорил, подставляя спину под мешок. “Эх, зелёная, сама пойдёт!” — орал, отбегая от вагона.

А когда мешки кончились, и они, покачиваясь, шли в комнатку начальника склада за расчётом, он продекламировал:

*Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет, и плачет, уходя!*

— Ну, ты уж загнул, чего-то... — покрутил пальцем у виска Седой.

— Это же поэт Фет! Деревня! — добродушно откликнулся Коля.

Получили по тридцатке и к дому двинулись. Обошли какой-то состав, перешли через пути... Гуднул маневровый тепловоз, тащивший один вагон. Встал на площадке, обнесённой колючей проволокой. Ребята притаились за вагоном, глядели. По периметру площадки стояли солдаты в длинных шинелях, в зимних шапках, с автоматами наизготовку, у некоторых на поводках овчарки. Брякнул засов, отъехала дверь.

— Пошёл!

Человек выпрыгнул, отбежал от вагона и присел на корточки, руки за голову убрал. И второй так же, и третий... Лай собак, выкрики, пар из десятков ртов... Холодное чёрное небо над холодной землёй.

— Зеков на рудник привезли, — сказал Седой. И скомандовал: — Пошли.

Ребята, стараясь оставаться незамеченными, быстренько уходили от страшного места.

— Внизу, в руднике больше двух месяцев никто не работает, — говорит Седой, когда уже идут по улице. — Или в больничку, или на кладбище...

— Ну, ты дак всё знаешь.

— Люди говорят. Да у меня ж брат сидит.

— А у меня дядька вышел, — кто-то сказал.

По чёрному небу пробежал блик какой-то, и ещё, и замигало, заиграло небо синим, жёлтым, розовым. Мальчишки заворуженно смотрели.

— Сполохи!

— Полярное сияние!

— Вот это да, я никогда раньше не видел...

— А у нас часто...

— Здорово!..

Коля сказал:

— Я в прошлом году в Баренцевом море видел. Море, небо и сияние...

Небо погасло, но парни ещё постояли, покурили... Пошли дальше, поскрипывая первым снежком.

— Как тебя взяли на корабль-то?

— Не хотели. Повезло, там бывший юнга попался...

— Давай возьмём, нам помощник кочегара нужен, — сказал молодой весёлый парень.

— Ну, ладно, — махнул рукой капитан. И сказал, обращаясь к кадровику треста: — Оформляйте, я беру его.

Потом уже этот матрос, Вовка Девятов, рассказывал:

— В сорок третьем году отец у меня погиб, мне четырнадцать лет было, я старший, ещё трое у матери. Ну, в колхозе работал, конечно. Голодали. А тут в райком комсомолом вызывают — набор, мол, в школу юнг. Я и пошёл! Хотелось ещё и повоевать успеть, за отца отомстить гадам-немцам. Ну, и на море — форма, романтика. Взяли меня и ещё двоих из нашего сельсовета, я ярославский... А школа-то на Соловках была. Там монастырь раньше был, потом тюрьма... Вот там. Летом хорошо — ягод полно, а зимой всё метели. Год там учились — ох, и гоняли же нас! А бескозырки были не с ленточкой, а с бантиком...

И фотокарточку показывал, на которой и правда — худенький паренёк в форменке и в бескозырке с бантиком.

— Вот с тех пор я мореман! Повоевать, правда, не успел. На севере в сорок четвёртом война закончилась, ну, правда, подлудки ихние ещё долго шарились, и мин много было... У нас один катер налетел — ничего не осталось!..

Рассказов о войне за месяцы работы на сейнере Коля много наслушался — почти все в команде воевали...

— У меня отец тоже, в сорок третьем... — сказал он тогда Девятову.

На Новый год делали праздничный концерт. Девочки из их группы, занимавшиеся в секции гимнастики, показывали упражнения, Колька Шанта-

ренков читал рассказ Чехова “Хамелеон”. Потом девушки пели, Коля подыгрывал им на гармошке. А после концерта были танцы.

У Коли прекрасное настроение, звучит радиола, он приглашает Олю Смирнову, потом Галю... Хорошо, что ещё в детдоме научился, преодолел стеснение и научился танцевать. В Тотье, уже понимая, что танцует лучше многих, совсем не стеснялся. И тут тоже сразу показал себя... Да ещё чувствует, понимает, как ладно сидит на нём курточка и флотские брюки, и ботинки, тщательно начищенные, блестят... И вспоминает, как танцевал с Таней и как прощался с ней, уезжая в Архангельск... “Коля, ты о чём думаешь?” — спрашивает обиженно очередная партнёрша. “О законе Ньютона!” — неудачно шутит он и ещё больше обижает девушку. И тут начинает стесняться и уже злиться на себя...

— Белый танец!

Он отходит к окну, делает вид, что уже натанцевался...

Не сразу, постепенно, выходят на круг пары...

— Николай, можно вас пригласить?

Улыбаясь, на него смотрит их учительница литературы.

Он кивает и берёт её за руку...

— А танцуете вы, Николай, не хуже, чем стихи в стенгазету пишете.

— Лучше!..

Музыка умолкает, и они останавливаются.

— Да, вы хорошо чувствуете музыку... И слово, — добавляет учительница.

— Я не просто чувствую, я этим живу, — вдруг совсем серьёзно отвечает он...

Из всех преподавателей больше всех понравилась ему учительница литературы: молодая, красивая, увлечённая и увлекающая своим предметом, похожая своей молодостью и увлечённостью на Ольгу Сергеевну из детдома.

— Кем бы вы ни стали в жизни — литература, книги всегда будут с вами, — говорила она на первом уроке. — Ребята, представляете, что было бы, если бы Александр Сергеевич Пушкин не написал об Онегине, Татьяне Лариной, Дубровском, Петруше Гринёве, если бы Лев Толстой не рассказал нам о Наташе Ростово́й и Пьере Безухове, если бы ничего не знали мы о страданиях Раскольниково́, если бы не переживали мы судьбу Павли Корчагина... Ведь мир наш был бы беднее...

Так говорила эта учительница. И Коле хотелось сделать ей хорошее и показать, что для него не пустой звук имена великих писателей и их героев и что и он тоже думает, мечтает, мыслит. Он знал, что сочинения у него хорошо получаются, ещё по школе и по “лесному” техникуму. И тут тоже старался.

...Ирина Олеговна читала его сочинение, и даже не верилось ей, что пишет это Коля Рубцов — лопоухий, с длинной и тонкой шеей, с хрупким горлышком, а в общем — обычный мальчишка. Да не совсем обычный. Глаза у него — тёмно-карие, цепкие, внимательные, а то озорные искры в них, то вдруг грусть, а когда пишет сочинение в классе, поднимет лицо от тетради, и по глазам видно, что далеко он...

“Село Никольское, в котором прошло моё детство, стоит на высоком берегу шумной речки Толшмы. С берега этого далеко видны заречные дали — леса, крыши деревень, поля, просёлочные дороги... Мой друг, что стоит рядом со мной, говорит вдруг: “Всё это моё, всё это я должен понять и вобрать в себя. Когда у тебя есть родина — ты можешь быть строителем, или крестьянином, или поэтом, ты можешь путешествовать по всему миру. Ты знаешь, для чего ты живёшь. Ты живёшь для родины, как и она живёт для тебя”. И я благодарен моему другу за то, что он выразил словами то, что и я чувствую.

И по тропке, вьющейся в мягкой зелёной траве, мимо пасущихся коней мы сбегает к нашей реке, скидываем одежду и ныряем в ласковую воду.

Мы долго купаемся, а потом лежим на берегу и смотрим в синее небо, по которому плывут белые, лёгкие, как мысли в этот момент, облака. Посмотришь на воду, а там тоже облака, плывут вниз по течению.

И мы мечтаем о том, как по этой реке уплывём к океану.

Так с речки детства начинается для человека океан жизни. А в океане и шторма бывают, и штиль... Всё бывает.

И настал день, когда я простился с моим другом и со всеми друзьями и подругами детства, с учителями, с жеребёнком нашим, с деревней и уехал далеко.

Продолжается моё плавание по океану жизни. Каким-то оно будет?..”

Ирина Олеговна, недавняя студентка и школьница, только-только ещё начавшая своё “плавание по океану жизни”, надолго задумывается над сочинением Коли Рубцова. Как сложится её жизнь? Она ещё не знает. Кем станут все эти ребята — её ученики? Кем станет Коля Рубцов?.. Как-то не представляется он ей человеком, работающим маркшейдером. Вот именно само название специальности — не для него...

Впрочем, всё это посторонние сейчас мысли, отвлекающие от работы. Ирина Олеговна ставит в конце пятёрку за содержание, задумывается на мгновение, вставляет синими чернилами пропущенную Рубцовым запятую и за грамотность тоже ставит пятёрку...

Послесловие

На береговом откосе, на ветру стоит он над рекой Вологдой, которая впадает в Сухону, а та — в Северную Двину, а та — в Белое море... Он смотрит на заречный храм, на пристань, от которой ночами, скрытые туманами, отходят неслышимые пароходы и теплоходы...

Навсегда стали эти берега ему родными, и он стал родным этим берегам, лесам, полям и деревням на этих берегах, и городам, и тысячам людей стал он родным, близким, необходимо нужным...

Не зря же написал: “Я уплыву на пароходе... И буду жить в своём народе”. И живёт...